

БИОГРАФИЯ ИЛИ РОМАН?

Напрасно стали бы вы искать на титульном листе книги М. Сизовой «Михаил Ломоносов» («Молодой гвардии», 1954, 373 стр.) указания на то, что это исторический роман или биография. Такое указание не пустая формальность — у всякого жанра свои законы.

Не случайно первые два издания книги заставили критику предъявить автору длинный счет — книга изобиловала ошибками, во многом искала историческую правду. Но каким получился образ Ломоносова, критика не сказала. Вердикт, она отнеслась к произведению только как к биографии.

Для нового издания М. Сизовой переработали все, устранив грубые ошибки. Кое в чем, однако, она не уступила, — так, по-прежнему едва грамотный юнец сочиняет великолепные торжественные стихи:

Открылась бездна звезд полна.
Звездам числа нет, бедне — дна.

Автор оставил это место сознательно, следовательно, он дорожил подобной «опиской». И в самом деле: через двести страниц он возвращается к этим стихам, которые Ломоносов, уже обогащенный опытом, кладет в основу своего «Вечернего размышления»... Вердикт, М. Сизова стремилась создать произведение художественное, в котором были бы и домыслы, и вымысел, и своя, свободная трактовка образа.

Внешне книга как будто бы и не откладывается от романа: все изображено «образно» — в описание и диалогах, зачастую весьма нелогичных, есть и живые персонажи. Тем не менее многое выдает, что произведение М. Сизовой все же подчинено задачам биографии. Повествование начинается с детских лет Ломоносова и ведется в строгой последовательности: эпизоды «гуськом» следуют друг за другом, вытягиваясь в одну линию. Вот мальчик влечется к книге, вот он слушает песни девушки, затем начинает учиться, отправляется с отцом в плавание, возвращается домой, уезжает в Москву — отрывочными сценами написываются в хронологическом порядке, пока повествование не обрывается смертью Ломоносова.

Конечно, исторический роман в своем развитии может обнаруживать тяготение к хронике, как это мы видим на примере «Петра Первого» А. Толстого. Но в такой

вещи должна быть своя идеальная концепция, должна быть центральный герой, личность которого раскрывалась бы во всей ее внутренней сложности, в движении. Так дал А. Толстой Петру, что и позволило Горькому назвать этот роман «точно на море вырезанным».

В книге М. Сизовой нет такого центрального героя, нет живого Ломоносова. Понадчула, когда автор показывает вспышки песни на пробуждение детского сознания или зарождение стихов при созерцании звездного неба, кажется, что он ставит своей главной целью — проникнуть во внутренний мир Ломоносова. Но это оживление не оправдывается. В дальнейшем старательно обходится все, что могло бы углубить, индивидуализировать его образ. Несмотря на юношескую сидит молодая Нарша, с волнистым и надеждой ожидающей его ласкового взгляда. Но опасение никогда не получит ответ на «томление его вопросов» заставляет Ломоносова отвести взгляд от девушки. «Он понял: путь его другой», — разозмывает автор.

Напрасно М. Сизова думает, что такой рассудочный отказ от любви оттеняет превосходство героя науке, его *жалду знаний*: эти лишь обеляются характер.

Иллюстрирование «биографии» без глубокого раскрытия внутреннего мира героя и тех, кто его окружает, приводят к тому, что писательница создает иконописный портрет Ломоносова. С детских лет он словно сознает себя будущим гением и в беседах с окружающими поминутно говорит об учености, об необходимости образования.

Отец заводит с сыном речь о женитьбе. «Учиться мне надоально...», — изрекает Ломоносов.

Главное — без чего нет романа, — в книге отсутствует: художественный образ Ломоносова. Не чувствуется умения автора по-своему осмысливать фигуру этого замечательного человека, его роль в русской науке.

Когда биография целиком облекается в беллетристические одежду, возникает произведение смешанного жанра, — полу-хроника, полуавтобиография, — не обладающее достоинствами ни того, ни другого, но ненадлежащее недостатки обеих. Так случилось и с книгой М. Сизовой.

А. КИПРЕНСКИЙ



27 мая начинается декада башкирской литературы и искусства в Москве

Афиши, обрамленные красочным национальным орнаментом, раскленные по Москве, сообщают, что 27 мая открывается декада башкирской литературы и искусства. Это первый крупный показ в столице достижений башкирского народа в развитии своей национальной культуры.

28 мая в Колонном зале Дома союзов открывается литературная часть декады. Башкирские поэты, прозаики, драматурги встречаются с рабочими Первого государственного подшипникового завода имени М. Кагановича и завода «Компрессор», со студентами МГУ. На литературных вечерах и конференциях, в библиотеках и парках культуры Москвы участники декады познакомят читателей со своими новыми произведениями.

Одновременно в Союзе писателей ССР будут проходить обсуждения книг башкирских литераторов: романа «Фундамент» и повести «Парни» Сагит Агиша, повести «Навстречу весне» Сайфудина Кудаша, романа «На склонах Нарыш-Тау» Кирея Мэрзгана и сборника «Башкирские рассказы».

На расширенном заседании секции поэзии будут обсуждены сборники стихов Мустая Карима, Халифа Карима, Рашида Нигматова, Назара Наджики, Гильемара Рамзанова, Кадыра Даши, Хакима Кильярова, Шарифа Банкоиль, поэма «Левушка с Сакмары» Рашида Нигматова и стихи Салая Кубильяша.

Московские драматурги обсуждают историческую драму «Салават» Бязита Бикбая, пьесы «Друзы Шавкатова» Мустая Карима, «Глубокое дыхание» и «Утро города» Ибрагима Абуллина.

Разбору подвергнутся книги для детей Мустая Карима, Зейнаб Бишиевой и сборник «Няя Гарик А-Адил».

Башкирское книжное издательство подготовило к декаде выставку произведений национальных писателей, на которой представлено более четырехсот книг.

В ближайшие дни в Москве выходят в переводе на русский язык ряд произведений башкирских писателей. Издательство «Советский писатель» выпускает сборник «Башкирские рассказы», Детгиз — сборник башкирских рассказов, Детгиз — сборник рассказов для детей и т. д.

Первая „среда“

ЛЕНИНГРАД. (Наш корр.). В редакции журнала «Нева» состоялась первая «среда», на которой встретились писатели, артисты, композиторы, режиссеры, художники, деятели кино.

Все это знаешь, кто эта женщина, что подняла ее в ранний час, куда ей идти...

Известно, что писательница не развивает найденные им качества персонажей, а лишь подтверждает их.

Шитов удачно набросал любопытный портрет партнера треста, вечно колеблющегося Рощина, своим безволием потакавшего Подгайского. Линии драмы доверия коммунистов, Рощин претендует на руководящий административный пост. Но новый партнёр Хлонов предлагает ему или бригадиром, делятником, советует учиться. Рощин с раздражением бросает Хлонову: «Хватят. Заучили!».

Не легко, но быстро осознает Рощин всю глубину своих ошибок и избавляет

самого себя от навязанных схем. Дело, конечно, не в нескользких затасканных эпизодах или затрапезных метафорах,

а в том, что если схеме противятся наилуч-

шим образом, она может отхватить всю руку.

Первая книга это поле, на котором

писатель ведет бой за свое, им лично увиденное и пережитое, против распространенного, закрепленного неоднократным повторением. Молодой автор ослаблен испытностью, его творческое лицо еще не определено, а на стороне его «противника» — привычного штампа, зачастую выступающего из-под пера.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, разыгрывающейся между привязанностью к родителям и стремлением к настоящей жизни, происходит от предела книги.

София Подгайская также задумана интереснее, неожиданнее решена. В облике ее найдено немало живых черточек. Но самое трудное для Софии, раз

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ ИСКУССТВА

А. ЧЕГОДАЕВ

Как все крупнейшие музеи мира, Дрезденская галерея имеет свое неповторимое, особое обаяние, свою резко выраженную индивидуальность. Как бы ни были порою сложны пути создания и роста большого музея, — в результате неизбежно возникает единый, целостный организм, где отдельные художественные полотна разных веков и народов живут сложной, взаимно друг друга дополняющей жизнью. Лицо музея всегда несет на себе печать времени, на которое приходится наибольший размах собирательской деятельности этого музея.

Так создалась и облик Дрезденской галереи, принадлежащей вместе с Лувром, Эрмитажем, мадридским Прадо к числу самых старых музеев мира. В этой замечательной коллекции картин старых мастеров, сложившейся в основном в XVII веке, на первом месте — великие художники Высокого Возрождения в Италии; голландские жанристы и пейзажисты XVII века и вместе с ними Рембрандт; большие холсты фламандских и испанских живописцев XVII века. Вкусы любителей и знатоков XVII века отвели большое место художникам конца Возрождения в Италии, начиная с Корреджо, холстам болонских и римских академистов XVII века, поздними флагманами крути Тициана, поздними голландцами, пересказывавшими мастеров эпохи расцвета старой Голландии...

Шедевры большого, реалистического искусства только еще больше выигрывают в столь наглядном сопоставлении с произведениями, рожденными эпохами упадка и измельчания искусства. Действительно, «Сикстинская мадонна» Рафаэля кажется только еще более человечной, простой и трогательной рядом с чопорной и холодной «Мадонной на троне» Гвидо Рени; вся глубочайшая жизненность вспыхивающая силы и подлинно реалистическая гармония «Сикстинской Венеры» Джорджоне или «Сикстинской Венеры» Пуссена становятся лишь еще живее и глубже рядом с жеманными, условными «красавицами» болонских живописцев; сверкающими мастерством Яна Вермерса Дельфтского, позжающее своей жизненной правдой, кажется поистине монументальным рядом с равнодушными переселенцами подробностей у какого-нибудь Герарда Доу и его потомков. И лицо музея определяют именно смелые, свободные и правдивые реалистические творения, воплотившие в своем бесконечно многообразном художественном строю лучшие мысли, чувства и мечты народов мира в разные времена их сложного и трудного исторического пути.

Так же как нельзя представить себе Лувр без картин Леонардо или без «Свободы на баррикадах» Делакруа, такую же «душу» Дрезденской галереи образуют «Сикстинская мадонна» Рафаэля и «Динарий кесаря» Тициана, «Сикстинская Венера» Джорджоне и большие праздничные полотна Веронезе, «Святая Инеса» Рибера и «Вирсавия» Рубенса, «Сикстинская Венера» Пуссена и картины Вермера или Якоба Рейдая и ряда других подобных же произведений, входящих в единую цепь большой реалистической традиции мирового искусства, идущей еще от времен Эсхатона в древнем Египте, от времен Перикла в древней Греции.

Это драгоценное наследие прошлого не умрет и не может умереть, оно — не музейная реликvia, а огромный творческий опыт веков, помогающий созданию нового, реалистического искусства, опирающегося на прошлое для бесконечного движения вперед.

В решении Советского правительства передать немецкому народу его национальное достояние, спасенное в дни войны Советской Армии и бережно сохраненное советскими музейными работниками, заключено прежде всего утверждение глубокой необходимости высокой художественной культуры, без которой не может быть полноценного творческого расцвета жизни каждого народа.

Одной из сильнейших составных частей Дрезденской галереи всегда было собрание картин эпохи Возрождения, особенно итальянских. За пределами Италии не часто можно встретить такую большую и, главное, высококачественную коллекцию, дающую реально ощущимому понятие о всей революционизирующей силе этой блестящей эпохи реалистического искусства. Мастера Раннего Возрождения, со всеми их ненастичной живописью в красоте и многообразии реального мира, с их разысканиями законов и отношений окружающей жизни, представлены в галерее рядом превосходных образцов полного целостности и свежести искусства. Их серьезный, согретый светом Пинтурикио, и «Св. Себастьяна» Антонелло да Мессина — могучий атлет, не обращающий никакого внимания на стрелы, воинствующие в его теле, и теккано ясное, погруженное в задумчивый покой «Святое семейство» Мантеньи, глухо горящие краски которого отливают металлом. — все такие работы защищают прочный фундамент того поэ-

тического и точного представления о мире, из которого вырастет высокий расцвет искусства Италии XVI века. С этими произведениями перекликается и чудесный триptych Яна Ван-Эйка, который своим прославившим жизнь реализмом покончил со средневековым в искусстве Нидерландов и в других странах Северной Европы.

Лух освобождения от всех сковывающих разум пут средневековой пронизывает творения мастеров Высокого Возрождения в Италии, Франции и Германии. Нельзя, конечно, полностью отнестись этот великий период в истории мирового искусства без Леонардо и Микеланджело, но то, что имеется в галерее, мало может найти себе равного.

Одна уже «Сикстинская мадонна» Рафаэля с давних пор создала мировую славу Дрезденской галереи. Ею восхищаются бесчисленные поэты и художники, о ней сложилась общепринятая, неизменно восторженная литература. Простота и сердечность материнского чувства, прудиманная законченностью композиции, придающая «Сикстинской мадонне» глубокую человеческий характер, чуждый набожной мистике, — все это несет в себе спокойную, убежденную полную жизненной правды, разрывавшей пурпур христианской легенды. Глубокий гуманизм рафаэлевского искусства нашел в этом прекрасном создании одно из наиболее совершенных выражений.

Более всего поразителен полный непрерывной страсти и горюю восхищения шедевр Пуссена. Этот вождь французского классицизма, искавший героический пафос и разумную гармонию человека и природы, мечтавший по стопам Возрождения в новых условиях напряженной, драматической борьбы XVII века, был настоящим волшебником абсолютно продуманной и извечной композиции и точнейшей жеста, выражавшего всю полноту и сложность душевой жизни. В эмиграции, в Италии, вдали от мертвящей альпы и дворца Людовика XIII (который пытались «приручить» Пуссена), художник создал свои глубоко человеческие творения, используя, подобно Шекспиру или Корнелию, весь тысячелетний фонд мифологических, библейских или исторических античных образов для того, чтобы говорить о прекрасном, реальном человеке среди величественной, могучей природы. «Венера», написанная в конце 1620-х годов в Риме, всем своим существом принадлежит Франции, которую горячо любил художник. Он сознательно сориентировался с Джорджоне и Тицианом и создал одновременно и пленительный образ прекрасной итальянской девушки. Гордое имя богочеловеческости, которое ей дал Джорджоне, говорит о неумирающей человеческой природе античного мифа, рожденного в своем время тем же преклонением перед земной жизнью человека. Теневый золотистый колорит, впервые созданный Джорджоне (и усиленный мягкостью пожелтевшего лака), неизменно связывает человека с природой, впервые с такой позитивной раскрытым Джорджоне (как покорно повторяют мягкие очертания холмов и облаков плавые линии вытинающегося тела Венеры), романтическое чувство, вызванное восхищением перед гармонией душевных и физических сил человека, тоже впервые, после древней Греции, воплощено и выражено Джорджоне, — все это только лишь некоторые качества этого замечательного создания искусства Возрождения.

Разные вариации стоят же глубокого отношения к жизни можно видеть в творчестве и других великих художников Высокого Возрождения: от ясного величия Тициана до юноши через край праздничной радости Веронезе, от серебристой и ярко-блестящей душевной чистоты Дюрера до стремительной, патетической и противоречивой фантастики Тинторетто, уже уходящего за пределы художественного строя искусства Возрождения. Кроме прекрасного портрета работы Дюрера, уже один «Портрет Моретта» Гольбейна, дающий понятие о художественном уровне неизвестного искусства поры его высшего расцвета.

Искусство семнадцатого века представлено в Дрезденской галерее столь же многообразно и богато, и в особенности — искусством Голландской Республики, расцветшее в этой стране после Нидерландской революции. Среди многочисленных различных школ Рембрандта, величайшего художника Голландии, — такие первоклассные вещи, как «Автопортрет с Саскией на коленях» или как странное и смешное «Хохинмедиа», простирающееся на «достоверность» которого вспоминают Пушкин в «Путешествии в Азию». Среди множества голландских жанровых картин — два шедевра Яна Вермера Дельфтского, относящиеся к дниам ранней молодости гениального художника, умевшего в пример многих своих современников — камуфлировать без прикрас изысканную благородную бургерскую жизнь Голландии и в

то же время с истинно ренессансной монументальностью и великой душевной ясностью прославлять в своем «Девушке с письмом» простую, обыденную жизнь простых людей. Среди многочисленных в Дрезденской галерее превосходных пейзажей И. Рейделя — его романтическое «Еврейское кладбище», своей душевной возвышенностью предвосхищающее пейзажи XIX века — пейзаж Констебля, Курбе или Левистана.

Семнадцатый век представлен в галерее и первоклассными работами Рубенса и Ван-Дейка, Беласкеса и Сурбарана, Пуссена и Валантена. «Святая Инеса» испанца Рибера и «Сикстинская Венера» француза Пуссена, быть может, с особенной наглядностью могут дать понять о глубокой человечности первого реалистического искусства XVII века, борющегося с роликовым экзальтацией и мистикой барокко и с холодной условной шаблонностью академизма. Рибера всю жизнь писал святых, отшельников и мучеников, он вовсе не иронически относился к благочестивой наивности первоначального германского папы и разумную гармонию человека и природы, мечтавшую заставить его писать своих отшельников с крепкими, крепкими испанскими настуках или рабиковых, а для своей «Инесы» он взял моделью собственно молодую лошадь, с величайшей любовью передав ее загородные пурпурные волосы и милос лице, говорящее не столько о мольбе к небесам, сколько о неисчерпаемом богатстве духовной жизни человека.

Более всего поразителен полный непрерывной страсти и горюю восхищения шедевр Пуссена. Этот вождь французского классицизма, искавший героический пафос и разумную гармонию человека и природы, мечтавший по стопам Возрождения в новых условиях напряженной, драматической борьбы XVII века, был настоящим волшебником абсолютно продуманной и извечной композиции и точнейшей жеста, выражавшего всю полноту и сложность душевой жизни. В эмиграции, в Италии, вдали от мертвящей альпы и дворца Людовика XIII (который пытались «приручить» Пуссена), художник создал свои глубоко человеческие творения, используя, подобно Шекспиру или Корнелию, весь тысячелетний фонд мифологических, библейских или исторических античных образов для того, чтобы говорить о прекрасном, реальном человеке среди величественной, могучей природы. «Венера», написанная в конце 1620-х годов в Риме, всем своим существом принадлежит Франции, которую горячо любил художник. Он сознательно сориентировался с Джорджоне и Тицианом и создал одновременно и пленительный образ прекрасной итальянской девушки. Гордое имя богочеловеческости, которое ей дал Джорджоне, говорит о неумирающей человеческой природе античного мифа, рожденного в своем время тем же преклонением перед земной жизнью человека. Теневый золотистый колорит, впервые созданный Джорджоне (и усиленный мягкостью пожелтевшего лака), неизменно связывает человека с природой, впервые с такой позитивной раскрытым Джорджоне (как покорно повторяют мягкие очертания холмов и облаков плавые линии вытинающегося тела Венеры), романтическое чувство, вызванное восхищением перед гармонией душевных и физических сил человека, тоже впервые, после древней Греции, воплощено и выражено Джорджоне, — все это только лишь некоторые качества этого замечательного создания искусства Возрождения.

Разные вариации стоят же глубокого отношения к жизни можно видеть в творчестве и других великих художников Высокого Возрождения: от ясного величия Тициана до юноши через край праздничной радости Веронезе, от серебристой и ярко-блестящей душевной чистоты Дюрера до стремительной, патетической и противоречивой фантастики Тинторетто, уже уходящего за пределы художественного строя искусства Возрождения. Кроме прекрасного портрета работы Дюрера, уже один «Портрет Моретта» Гольбейна, дающий понятие о художественном уровне неизвестного искусства поры его высшего расцвета.

Искусство семнадцатого века представлено в Дрезденской галерее столь же многообразно и богато, и в особенности — искусством Голландской Республики, расцветшее в этой стране после Нидерландской революции. Среди многочисленных различных школ Рембрандта, величайшего художника Голландии, — такие первоклассные вещи, как «Автопортрет с Саскией на коленях» или как странное и смешное «Хохинмедиа», простирающееся на «достоверность» которого вспоминают Пушкин в «Путешествии в Азию». Среди множества голландских жанровых картин — два шедевра Яна Вермера Дельфтского, относящиеся к дниам ранней молодости гениального художника, умевшего в пример многих своих современников — камуфлировать без прикрас изысканную благородную бургерскую жизнь Голландии и в

то же время с истинно ренессансной монументальностью и великой душевной ясностью прославлять в своем «Девушке с письмом» простую, обыденную жизнь простых людей. Среди многочисленных в Дрезденской галерее превосходных пейзажей И. Рейделя — его романтическое «Еврейское кладбище», своей душевной возвышенностью предвосхищающее пейзажи XIX века — пейзаж Констебля, Курбе или Левистана.

Семнадцатый век представлен в галерее и первоклассными работами Рубенса и Ван-Дейка, Беласкеса и Сурбарана, Пуссена и Валантена. «Святая Инеса» испанца Рибера и «Сикстинская Венера» француза Пуссена, быть может, с особенной наглядностью могут дать понять о глубокой человечности первого реалистического искусства XVII века, борющегося с роликовым экзальтацией и мистикой барокко и с холодной условной шаблонностью академизма. Рибера всю жизнь писал святых, отшельников и мучеников, он вовсе не иронически относился к благочестивой наивности первоначального германского папы и разумную гармонию человека и природы, мечтавшую заставить его писать своих отшельников с крепкими, крепкими испанскими настуках или рабиковых, а для своей «Инесы» он взял моделью собственно молодую лошадь, с величайшей любовью передав ее загородные пурпурные волосы и милос лице, говорящее не столько о мольбе к небесам, сколько о неисчерпаемом богатстве духовной жизни человека.

Более всего поразителен полный непрерывной страсти и горюю восхищения шедевр Пуссена. Этот вождь французского классицизма, искавший героический пафос и разумную гармонию человека и природы, мечтавший по стопам Возрождения в новых условиях напряженной, драматической борьбы XVII века, был настоящим волшебником абсолютно продуманной и извечной композиции и точнейшей жеста, выражавшего всю полноту и сложность душевой жизни. В эмиграции, в Италии, вдали от мертвящей альпы и дворца Людовика XIII (который пытались «приручить» Пуссена), художник создал свои глубоко человеческие творения, используя, подобно Шекспиру или Корнелию, весь тысячелетний фонд мифологических, библейских или исторических античных образов для того, чтобы говорить о прекрасном, реальном человеке среди величественной, могучей природы. «Венера», написанная в конце 1620-х годов в Риме, всем своим существом принадлежит Франции, которую горячо любил художник. Он сознательно сориентировался с Джорджоне и Тицианом и создал одновременно и пленительный образ прекрасной итальянской девушки. Гордое имя богочеловеческости, которое ей дал Джорджоне, говорит о неумирающей человеческой природе античного мифа, рожденного в своем время тем же преклонением перед земной жизнью человека. Теневый золотистый колорит, впервые созданный Джорджоне (и усиленный мягкостью пожелтевшего лака), неизменно связывает человека с природой, впервые с такой позитивной раскрытым Джорджоне (как покорно повторяют мягкие очертания холмов и облаков плавые линии вытинающегося тела Венеры), романтическое чувство, вызванное восхищением перед гармонией душевных и физических сил человека, тоже впервые, после древней Греции, воплощено и выражено Джорджоне, — все это только лишь некоторые качества этого замечательного создания искусства Возрождения.

Разные вариации стоят же глубокого отношения к жизни можно видеть в творчестве и других великих художников Высокого Возрождения: от ясного величия Тициана до юноши через край праздничной радости Веронезе, от серебристой и ярко-блестящей душевной чистоты Дюрера до стремительной, патетической и противоречивой фантастики Тинторетто, уже уходящего за пределы художественного строя искусства Возрождения. Кроме прекрасного портрета работы Дюрера, уже один «Портрет Моретта» Гольбейна, дающий понятие о художественном уровне неизвестного искусства поры его высшего расцвета.

Искусство семнадцатого века представлено в Дрезденской галерее столь же многообразно и богато, и в особенности — искусством Голландской Республики, расцветшее в этой стране после Нидерландской революции. Среди многочисленных различных школ Рембрандта, величайшего художника Голландии, — такие первоклассные вещи, как «Автопортрет с Саскией на коленях» или как странное и смешное «Хохинмедиа», простирающееся на «достоверность» которого вспоминают Пушкин в «Путешествии в Азию». Среди множества голландских жанровых картин — два шедевра Яна Вермера Дельфтского, относящиеся к дниам ранней молодости гениального художника, умевшего в пример многих своих современников — камуфлировать без прикрас изысканную благородную бургерскую жизнь Голландии и в

то же время с истинно ренессансной монументальностью и великой душевной ясностью прославлять в своем «Девушке с письмом» простую, обыденную жизнь простых людей. Среди многочисленных в Дрезденской галерее превосходных пейзажей И. Рейделя — его романтическое «Еврейское кладбище», своей душевной возвышенностью предвосхищающее пейзажи XIX века — пейзаж Констебля, Курбе или Левистана.

Семнадцатый век представлен в галерее и первоклассными работами Рубенса и Ван-Дейка, Беласкеса и Сурбарана, Пуссена и Валантена. «Святая Инеса» испанца Рибера и «Сикстинская Венера» француза Пуссена, быть может, с особенной наглядностью могут дать понять о глубокой человечности первого реалистического искусства XVII века, борющегося с роликовым экзальтацией и мистикой барокко и с холодной условной шаблонностью академизма. Рибера всю жизнь писал святых, отшельников и мучеников, он вовсе не иронически относился к благочестивой наивности первоначального германского папы и разумную гармонию человека и природы, мечтавшую заставить его писать своих отшельников с крепкими, крепкими испанскими настуках или рабиковых, а для своей «Инесы» он взял моделью собственно молодую лошадь, с величайшей любовью передав ее загородные пурпурные волосы и милос лице, говорящее не столько о мольбе к небесам, сколько о неисчерпаемом богатстве духовной жизни человека.

Более всего поразителен полный непрерывной страсти и горюю восхищения шедевр Пуссена. Этот вождь французского классицизма, искавший героический пафос и разумную гармонию человека и природы, меч